

Евгений ХОРВАТ

Евгений Анатольевич Хорват (1961–1993). Поэт, прозаик, художник. Родился в Москве, с 1976 жил в Кишиневе, где посещал литобъединение «Орбита». Со школьных лет публиковался в местной периодике. В 1980 вместе с матерью и сестрой перебирается в Петрозаводск. Тогда же задержан органами КГБ Ленинграда за распространение антисоветских листовок, после чего вся семья подает документы на выезд и в начале 1981 эмигрирует в Германию. Некоторое время работал на радиостанции «Немецкая волна». В 1988 закончил Гамбургский университет (диплом по теме «Философия общего дела Н. Фёдорова»). В мае 1985 прекратил писать стихи и затем занимался в основном визуальным искусством. Покончил с собой в г. Хенштедт-Ульцбург, под Гамбургом.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Публикация, вступление Владимира Орлова

Пандемия! Самое время заняться архивами, чтобы проверить, не завалилось ли в них что-нибудь прекрасное. И оно завалилось.

Рассказ «Из всех искусств» был получен от Игоря Бурихина вскоре после выхода книги Евгения Хорвата «Раскатанный слепок лица»¹. Это объясняет, почему он не попал в книгу, но не объясняет, почему я о нем забыл. Рассказ этот, как следует из надписи автора на нем, является пробой к другой, «большой» прозе под названием «Ready-made»: «Дорогой Игорь, уверяю твоему беспристрастию сиё испражнение неопытного пера – заготовка к нем[ецкой] книге больше по сюжету, чем ритмом письма». «Ready-made» для публикации в «Раскатанном слепке лица» действительно пришлось переводить на русский с немецкого, на который окончательно перешел автор в начале 1990-х. «Из всех искусств» же написан еще по-русски, этим (но не только этим!) и интересен.

Публикуемые вслед за рассказом стихи Хорвата ожидаемо нашлись в фонде Константина Кузьминского из архива Русского центра колледжа Амхерст (США). Ожидаемо – поскольку упоминались в письмах автора к Кузьминскому, опубликованных в знаменитой антологии последнего «У Голубой Лагуны». Однако при жизни Константин Константинович найти их у себя дома не сумел. Разбирайте архивы вовремя!

Из всех искусств

Николаев проснулся, как он раньше острил, в постеле, в комнате, вглядываясь постепенно в усеянное каплями стекло перед ним и то, что за ним. И обмер, подскочив на локоть: красная длина, растянутая метров за 30 отсюда – лозунг – была...

хух – втянул в юзасе Николаев, ощущая живот с беззвучно разрастаящей темлотой.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИИСУС ХРИСТОС» – стояло на лозунге. Было небо, стена здания, окна. Николаев бросился.

¹ Евгений Хорват. Раскатанный слепок лица. Стихи, проза, письма. Сост. и коммент. И. Ахметьева и В. Орлова. – М.: Культурный слой, 2005. – 488 с.

Выкрутившись из постели, натянув в спешке штанину, штанину... да нет, наоборот... штанину, и на футболку свитер... ах, ты! – Николаевов бросился через коридор к двери, схватил медную ручку, сжал и... Нет, момент. Так.

Николаевов всё ещё нервно отдёргнул руку от готовившейся повернуться круглой ручки и глянул вниз. Под взглядом тело его побежало по самому себе: от груди до ног. Они стояли на полу. Николаевов заметил это, это бросилось ему в глаза. И босиком, а сапоги-то – в двух шагах! наскоро натянуть... нет! Николаевов успокаивался и решительно тряхнул головой. Головой. И потом сдержанно, воздержанно прошёл к умывальнику. Зубы.

С торчащей щёткой Николаевов поднял глаза и впервые встретился с изображением сегодняшних суммы ощущений. Глаза в зеркале вспомнили ему, что ведь каждый день он встаёт сперва помолиться, а зубы после. Чуть не прокусив щётку... но нет, юноша, не так уж поспешно! – наскоро поведив ею, зубастый Николаевов выплюнул всё и от раковины – прямо к лампадке. Бо-ми-бу-ми-му-го-бо-по-мя... – застрочил Николаевов и через полминуты осёкся на нощи сей сон прейти в мире. Таковые-то утренние молитвы изумили Николаевова, который почёл за лучшее благоговейно перекреститься и замолчать. Нарушение положенной последовательности событий вконец спугнуло бы Николаевова, если б не сознавал он правильно, что она в его воле: в неволе.

Закрыв многоэтажный дом дверью, Николаевов для начала, поёживаясь, уставился в кустики, в край досок, обносящих песочницу, в плетёную проволоку двора, между зеленоватым... каким-то серым... в миг проплывшим, смешиваясь, вниз под взглядом Николаевова и обрубилось. Красным лозунгом – содержания как выше.

Убедившись, Николаевов прошёл мимо двора и пошёл по улице, всё мимо окон верхних этажей и потом вновь первых-вторых, дверей, проёмов, чтоб не споткнуться – и потом опять пятнадцатых, двадцатых, шёл он безо всяких деталей, подробностей, в этом не было никакой убедительности, никакого художественного капитала. Всё вокруг Николаевова было описано столь небрежно, что когда взгляд его наконец наткнулся на ещё один плакат, то воспринял его уже по-домашнему уютно на уровне четвёртого этажа, взятым в окаймляющую гирлянду медовых лампочек:

«СЛАВА БОГУ!»

Николаевов независимо, как бы невозмутимо прошёл дальше – но через несколько шагов его остановило как вкопанного. Вкопанного. С усилием он повернулся и заново, по складам вчитался в лозунг. Ага... ага. За какой же это я теперь за границей, попробовал пошутить про себя Николаевов. Он двинулся дальше, завернул за угол – и вот на площади, далеко ввысь над фонарём:

«БУДИ ИМЯ ГОСПОДНЕ БЛАГОСЛОВЕННО ОТ НЫНЕ И ДО ВЕКА!»

Это что же, пародия на Рай? – ошеломленно пролепетало в Николаевове.

Ладно. Дальше.

Ошеломленно пролепетало. Вот именно, вот и... Николаевов не мог сообразить ничего помимо снова нарастающего восторга. Да, это Москва, Москва! Что же раньше нам ничего не говорили! Вот оно как! Царство Божие. Я что же, внутри себя?

Рядом была автобусная остановка. Не зная зачем ехать, Николаевов очутился рядом с нею – и неожиданно зацепило его глаза расписание:

9⁰⁸ Рождество Пресвятыя Богородицы

9¹⁴ Воздвижение честнаго и животворящаго Креста Господня

11²¹ Вход во храм Пресвятыя Богородицы

12²⁵ Рождество Господа нашего Иисуса Христа

13⁰⁶ Крещение Господа нашего Иисуса Христа

14⁰² Сретение Господа нашего Иисуса Христа

15²⁵ Благовещение Пресвятыя Богородицы

Всё расплылось в мире Николаевова, он не успел дочитать. Но тело его было ещё формным, и он невольно вдруг схватился за своё имя и твёрдо причитал его: Николаевов.

Вдруг выглянуло округлое как комок теста солнце, сквозь Николаевова моментальное затмение приглянувшееся луной. Какой язык? язык какой? – силился лбом Николаевов. Встряхнувшись и забыв, чего он хотел, он обошёл столб расписания, где оно с другой стороны продолжалось:

16⁰⁶ Преображение Господа нашего Иисуса Христа

16¹⁵ Успение Пресвятыя Богородицы

– вернее, оканчивалось. Николаевов отошёл от остановки и пошёл насквозь уже по всему городу. Он входил в какие-то подъезды, где двери подвалов и кладовых на висячих замках подавались под его лёгким, но точным прикосновением; и вот он оказывался на всё новых улицах, возвышающихся и разливающихся вдоль... И чем вышесте захватывают дух этажи алмазно сверкающих зданий, тем крупнобуквеннее плакаты: «ПОМИЛУЙ НАС ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС!»

«ЧАЕМ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ И ЖИЗНИ БУДУЩАГО ВЕКА»

«ВСИ СВЯТИИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!» «ГОРЕ ИМЕИМ СЕРДЦА»

Кружевами точились фонтаны, автомобили шли косым потоком – но пространство пересекалось Николаевовым легко, свободно, не убыстряя шага и не глядя по сторонам. Иногда только Николаевов выпивал у киоска стакан лимонада или газировки, придающий ему невиданную силу; шутил насчёт денег, лез в карман за воображаемым медяком... Людей на тротуарах было больше, чем раньше, и прибавлялось на глазах, но рос и простор, и от этой ровности соотношения в ушах стояло мощное гудение, героическое как в пору войн, катастроф, концов. Николаевов видел взгляд каждого, все знали друг друга по имени – а что же, это нормально, не так уж имён и много. Ульрих, ты не знаешь, это Москва? – невзначай обратился он к проходившему пожилому господину. – Да, Николай, Берлин, – подмигнул тот ответно. Так это вот как, – ещё раз радостно качнулось в Николаевове, – ну конечно, а как же ещё? как же раньше мы до этого не додумались.

Вдруг рывком достигло пика колебавшееся прежде предчувствие, что за этими рядами строений – горы. Воздух был не просто свежим, а каким-то переменившимся, и сладкий тёплый ветёр иногда охватывал Николаевова. Некое дуновение шло и от людей, – когда он к ним приближался – ладан, снег, сахар? Уже просто насквозь пройдя мягкий слой бетона, Николаевов взглянул и снова опомнился. Да, это были горы, но горы воздвигнутые, воздвигнутые из непривычно-бледно-розового и белого камня, инкрустованных перламутром, подножиями лишь немногим шире вершин, – гигантские сталактиты. Это был памятник, монументальная группа – Николаевов благоговейно всмотрелся – три праздника: Вход Господень во Иерусалим, Воскресение Христово и Вознесения. Правая гора была фигурой на осле, представляя собой довольно классическую для памятников композицию. Левая начиналась одновременно в небе и в земле, и кончалась там же, что тоже просто. Николаев<ов> успел окинуть её лишь краем глаза, поскольку взор сразу же приковался к центральному, наиболее развёрнутому памятнику Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа с белоснежной, высеченной в глубине искрящейся аббревиатурой ГНИХ в пышном чёрновишнёвом обрамлении. Там не было движения, и этот покой, страшнее всяких молний, ужаснул Николаевова и разом поставил его на место.

Вдруг устал и, ходя по улицам, избегал видеть по сторонам. Бедный Николаевов, разом трезвый и угнетённый, сгорбился, стал ломиться: егда приидеши во Царствии Твоем – помяни мя, Господи Иисусе Христе. За другим один зажигаться фонари начали, было светло ещё хотя. Пошёл дождь? Николаевов обнаружил себя посредине строительной площадки, где бугры образовывали впадины. Какие-то марли, шланги, а вот бутылочки с масляной жидкостью на костяной доске. Друг против друга стояли два снятые с колёс вагона, из двери одного торчал канат, и Николаевов подтянул его и вставил в проём другого вагона. Дедушка! – вскрикнул он, всмотревшись в одно из жестяных

плотно закрытых вёдер, и ласково провёл дрожащей рукой по овальной крышке. Горки серой извёстки, бледные дощечки окружили Николаевова.

– Ты, пиздюлина, куда залез! – К Николаеву скорым ходом приближался рабочий. Николаев не успел ответить, как тот схватил его всей рукой за нижнюю часть лица и пхнул от себя. Николаев повалился, какое-то железо дало ему по голове над ухом, ободрал локоть, в глаза и рот попал песок. Но это было не всё. Николаев, боязливо сжимаясь, поднялся, ухватившись для опоры за врытую в землю балку. Рванув с треском его свитер, рабочий привлёк его к себе и со злобой выговорив:

– Я тебе говорю, не трожь эти кости! –

коротко замахнулся. Оглушаемый ударом, Николаев осознал, что тот ему чуть заметно, ободряюще, подмаргивает обоими глазами – держись, мол. И, уже падая – что от него вблизи исходил всё тот же чудный, сладостный запах, как от плащаницы в Страстную Пятницу. Николаева потащили, и он весь отдался трению мелких камней, осколков, прожигающихся целыми галактиками сквозь хлопок штанов. Ну, вставай давай – приказали сверху и силой начали поднимать. Уже на ногах Николаев различил двоих – того же рабочего и хмурого костлявого другого, как видно прораба. Чтоб тебя здесь не было, – отчётливо пробормотал прораб, и, выводя Николаева за забор, добавил: здесь нельзя копать. Инструкцию видели? – Какую... – прохрипел Николаев, но тут опять появился рабочий: да гони ты его в шею! И действительно, он подошёл к Николаеву сзади и своей широкой ладонью вlepил Николаеву ниже затылка. Споткнувшись, Николаев упал в третий раз, но лишь на секунду. Рабочие исчезли за забором. На нём, действительно, была какая-то инструкция, бумажка, прикреплённая под прозрачной клеёнкой. Надписи было не прочесть из-за темноты и грязи. Николаев трясущимися руками достал спички, отёр рукавом клеёнку и стал читать:

«Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя: на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради Своего. Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси: жезл Твой, и палица Твоя та мя утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающим мне: умастил еси елеом главу мою, и чаша Твоя упоявающи мя яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего: и еже вселитимся в дом Господень, в долготу дний».

Звенели колокола, блестя златотканными шинами, во многоэтажных деревьях празднично горел газ. Было глубоко. Всё как хочешь, так и есть, понимал Николаев, слова теперь ноль, и те на стройке говорили и делали совсем другое. И били они меня только потому, что я это так понял. Чтобы я понял, сентиментальничал с собой Николаев.

Повсюду пелись песнопения – об ангелах, о брани с Сатаной, о предстоящем Воскресении: «в царство свободы дорогу грудью проложим себе», «за лучший мир, за святую свободу», «вы жертвою пали» вечернюю – слышал Николаев уже дома из радиоприёмника, опустив голову на руки на стол на пол на дом под ним на землю на небо под ней. Ангельские хоры, за ними поля, туманы, рощи, ночные влажные поля боёв, смертей за веру в великое дело. «Царю Небесный» – проговорилось Николаев<ов>у – «Утешителю, Душе Истины» – всё с больших букв, чем дальше, тем огромнее, и он лёг и стал вжиматься, вживаться в постель, уплощаясь, выжимая из себя остатки пространства, продираясь сквозь простыню и матрас в сон, зная, что этим видом транспорта можно уйти, очнуться в новом теле в дальнем времени, взлететь на другую звезду – так, чтобы, заглянув в комнату, нашли только «ризы лежащая».

Не знаю, чем я не угодил моему герою, спроецировав внутренний его мир на внешний. Конечно, от такого оборота событий человек теряется, как если бы ему поутру предложили в зеркале вместо черт лица, например, кишечник. Во всяком случае, заснуть достаточно глубоко ему в тот раз удалось или не удалось.

Стихотворения из архива К. Кузьминского

В соснах заблудившись трёх,
прервав тривиальный трёп,
ты видишь одну из троп
от стула к ней:

не глядя, тот камень пнуть,
тебе преградивший путь,
потом, не споткнувшись об
один из пней,

рукой отведя ту ветвь,
нагнуться, где низкий сук,
другой вырубая свет, –
и, молнией новых брюк

(неужто сейчас заест? –
сдержав облегченья вздох –)
сверкнув, как второй Зевес,
прижаться... но что-то вбок,

куда-то во тьму пролив,
ни ей, ни себе не дашь
войдя в тот воздушный лифт,
на этот взлететь этаж.

Полюбив меня прошлой зимой,
но ни лавров, ни терний
не пожаловав, вспомнишь ли мой
тенорок характерный

в дни разлуки? За твой интерес
лишь к тому, что так бренно и тленно,
– вот тебе мой безжизненный текст
вместо крепкого члена!

Декабрь 1981

Там больше братских могил, чем стран.
Там вечный огонь горит, как т а м,

да в нем – никого.
И бес, возлагая венки и газ
сильней разжигая, не спросит вас, –
ну что? каково?

Там Церковь взорвана изнутри,
и не на Кресте горит INRI,
но – КПСС
на каждом лбу и, увы, – лобке!
И у жида не гвоздь в кулаке,
но лишь о б р е з.

Чего подлез ты ко мне, мудака, –
когда, мол, кончится, мол, бардак?!
НЕ КОНЧИТСЯ НИКОГДА.
Кустарь доволен. Технарь несмел.
И даже самый большой нацмен –
отчаянная пизда.

Спасибо, Боже, что не дал вервь
порвать нам. Ибо мы раб и червь.
Спасибо, что мы – не Ты,
что нас, когда мы ни в зуб ногой,
простит Который-нибудь другой
с такой высоты!..

9.10.1982

Чернота белизны этой талой,
желтизна этой зелени палой –
всё, что впалой тебе не вдохнуть,
не собрать и не сжать в пятипалой.

Потому и собравшись бежать,
мстишь природе, в которой лежать:
твоего ей не выдохнуть слова,
не рассыпать его, не разжать.

15.10.1982

Из «Василисок»

На боку себя в перья зароешь,
И уже не в себе воплотишься,
А сожмёшься во тьме, как зародыш,
Да и вправду ещё зародишься.

Вот и сердце в крови потонуло

И всё больше под ложечкой веры,
И уж если на «И» потянуло,
То утянет в грядущие еры.

...Это будет беззвучная мягкость
В опрокинутом образе Рыка,
И зима там цветнеет, как лакмус,
Но покойника первого крика

Мы не слышим, как Мать в умиленье,
Что у райской стоит колыбели,
Где родятся в самом Искупленье,
Как при жизни в церковной купели.

26 окт. 82

Из «Улик для ада»

Когда берёт Левиафан
Тебя в тиски, —
Сквозь мозг ползёт ещё туман,
Пески, пески,

И с ними выползаешь из
Своих телес,
Как Богу этакий сюрприз,
Под свод небес.

В мозгу действительно серо,
И Дарвин прав, —
Но вылезает, где светло,
Как червь и раб.

И Царство Божие кишит,
И дождь идёт,
Пока земля уже лежит,
Ещё падёт.

31 окт. 82

Я дверью стучал, так долго, что я
почти не заметил, как время прошло.
И вот я снаружи увидел, как я
увидел всё то, что в ложбину вошло.

И я закружился на чёрном столе,
с чужой головою и членом в петле.

От той-то межи, от тех соловьёв,
что изредка лезут в промежность меж всем,
что вьётся в тумане, что твой долбоёб,
что входит из леса, когда я не ем.

Прости, не скучай. В клозете кончай.
И зорким коленом живот примечай.

Рассказ мой окончен. Ложбина ползёт
по тем облакам, что не снились тебе.
Клозет провалился. Промежность грызёт.
Перо соловьёв присыхает к губе.

Читатель, бодрись! К туману стремись!
Столom прикрывайся и с другом ебись.

1984